

О тяге молодого поэта к Сергею Есенину и поэтам есенинского круга говорилось не раз, только отчего-то в первую очередь вспоминают «новокрестьянскую купницу» (Клюев, Клычков, Орешин) или родных и близких поэта (шурин Василий Наседкин, сын Юрий Есенин). Между тем, Павел Васильев тесно общался с Рюриком Ивневым: старый имажинист одним из первых приложил усилия для того, чтобы молодой человек смог реализоваться в мире литературы. С теплом отзывался о его поэзии в целом и о «Соляном бунте» в частности Вадим Шершеневич. Может быть, не прямое, но косвенное влияние на поэзию Васильева оказал Анатолий Мариенгоф. А ещё чётко прослеживается если и не влияние, то круг чтения Павла Васильева, в который среди прочих входили и книги Ивана Грузинова.

Но начнём с самого начала.

Павел Васильев и Рюрик Ивнев

Знакомство с имажинистами произошло во Владивостоке. Надо сразу сказать, что это было первое и единственное знакомство. В остальном поэты узнавали друг о друге на расстоянии.

Юный Васильев бежал из дома и скитался по Сибири, пока наконец не вышел к тихоокеанскому побережью. С другого конца страны сюда же приплыл именитый московский гость – Рюрик Ивнев. Он помог Васильеву с первыми публикациями и организовал поэтический вечер в актовом зале Дальневосточного государственного университета в последних числах ноября 1926 года.

Судя по стихотворениям, которые были посвящены друг другу, поэты много говорили о недалёком прошлом: о Есенине, о «кафейном периоде русской поэзии», об имажинистах.

Ивнев написал для Васильева акrostих:

Пустым похвалам ты не верь,
Ах, трудным будет путь поэта,
В окно открытое и дверь,
Льет воздух, лекарь всех потерь,
Ушаты солнечного света.

В глаза веселые смотрю,
Ах, всё течет на этом свете...
С таким же чувством я зарю
И блеск Есенина отметил.

Льяняную голову храни,
Ее не отдавай ты даром.
Вот и тебя земные дни
Уже приветствуют пожаром.

Ивнев вообще любил акrostихи. В романе «Богема» есть эпизод, где они вместе с Сергеем Есениным, запершись в писательской коммуне, пишут друг другу стихи. У Сергея Александровича это был, между прочим, единственный акrostих. И, наверное, именно с Ивнева пошло это сравнение Павла Васильева и Сергея Есенина.

Но вот старый имажинист отправился дальше по курсу. В начале 1927 года на пароходе «Томск» он отчаливает из Владивостока в Петропавловск-на-Камчатке. А потом в августе этого же года на пароходе «Индибирка» – заглянул в Японию, где в сентябре-октябре путешествовал по острову Хоккайдо и посетил город Инокава, а потом уплыл обратно во Владивосток.

Васильев в это время уехал в Хабаровск с рекомендательным письмом ко Льву Повицкому (тоже, кстати, человеку есенинского круга). Огорошенный признанием столичного мэтра и такой высокой оценкой собственного творчества, он поначалу растерялся. Всё, что мог, это написать Ивневу письмо (от 12 декабря 1926 года): «Милый Рюрик Александрович! Приехали мы с Андрюшей в Хабаровск так скоро, что поцелуи – которыми Вы нас благословили, отправляя в дальний путь – еще не успели растаять на губах. А в душе они будут жить всегда <...> Я Вам написал стишок тут маленький такой в дороге – так вот и посылаю. Уж Вы извините, пожалуйста, что не оброботан».

В письме Васильев постоянно акцентирует в нужном и ненужном месте окание: видимо, Ивнев успел рассказать ему о Николае Клюеве (эту его игру в олонецкого дьячка высмеивал ещё Есенин). В будущем они успеют познакомиться, поссориться, помириться и написать друг о друге. А пока Васильев только предвкушает встречу.

Лев Повицкий в свою очередь дал рекомендательное письмо к Казину.

А стишок, о котором говорит молодой поэт, неизвестен. Возможно, это был набросок того стихотворения, которое посвящено Рюрику Ивневу:

Прощай, прощай, прости, Владивосток.
Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...
Вот кинут я, как сорванный цветок,
В простор полей, овянных и снежных.

Ты проводил и обласкал меня,
Как сына, наделил советом.
В невзгодье, в мрак иль на рассвете дня –
Я не забуду никогда об этом!

Я не хочу на прожитое выть, –
Но жду зарю совсем, совсем иную,
Я не склоню мятежной головы
И даром не отдам льянью!

Прощай, мой друг! Прощай, прощай, поэт.
Я по душе киргиз с раскосыми глазами.
Вот потому и искренен привет,
Вот потому слова – про многое сказали.

Прощай, мой друг! Ещё последний взгляд.
Туман тревожно мысли перепутал.
В окне мелькают белые поля,
В уме мелькают смятые минуты...

В будущем Рюрик Ивнев ещё не раз возвратится в приливе вдохновения к сопоставлению двух поэтических гениев – Есенина и Васильева. Например, в стихотворении, посвящённом Сергею Михайловичу Суше*:

Я помню Есенина в Санкт-Петербурге,
внезапно поднявшегося над Невой,
как сон, как виденье, как дикая вьюга,
с зеленой листвой и льянной головой.

Я помню осеннего Владивостока
пропахший неистовым морем вокзал

* Надо сказать, что в 1980-м году в дневниках Рюрика Ивнева появились такие строчки: «Сергей Суша – невоспитанный провинциал, с Украины, он довольно быстро “оттеснил” своих конкурентов и всюду стал объявлять себя моим секретарём <...> Вскоре из квартиры исчез старинный мужской портрет кисти известного голландского художника, стали пропадать автографы: Есенина, Брюсова, Луначарского... другие ценные вещи».

Сам С.М. Суша в предисловии к своему автобиографическому роману «Скарабей» явно дал понять, что у его старшего товарища в квартире было множество литературных артефактов. Об одном из них, собственно, и идёт речь в романе: «Сергей Есенин и Рюрик Ивнев в голодные двадцатые годы иногда “подкармливались” в богатой семье Ройзманов. Однажды после сытного ужина Матвей Ройзман предложил сыграть в карты. Есенину в тот день везло. Он выиграл не только большие деньги, но и СКАРАБЕЯ. Зная свою щедрую натуру, он отдал перстень на хранение Рюрику Ивневу».

Стихотворение, начинающееся строчкой «Я помню Есенина в Санкт-Петербурге...», в книге Рюрика Ивнева «Избранное» (М.: Издательство «Правда», 1988) называется по первой строчке. Но есть и второй вариант, когда оно называется по посвящению – «С.М. Суше». И опубликовано – в романе «Скарабей». Учитывая всю неоднозначность истории, необходимо обозначить оба варианта бытования текста.

Тем более что строчки «И вот я другие сжимаю ладони / и юности вечной не вижу конца» могут указывать на С.М. Сушу и на его сопоставление с Сергеем Есениным и Павлом Васильевым: не в масштабах литературного дара, но в дружеской близости к Рюрику Ивневу.

и Павла Васильева с болью жестокой
в еще не закрытых навеки глазах.

А годы неслись, как горячие кони,
посевы топча и сжигая сердца...
И вот я другие сжимаю ладони
и юности вечной не вижу конца.

Другого поэта я слышу дыханье,
и Русь, воплотившись на миг в пастуха,
меня осыпает, как щедрою данью,
горячим дождем золотого стиха.

Пусть царство разбилось, как хрупкая ваза, —
Цветёт и поныне волшебный цветок
Старинного дерева русского сказа,
Бессмертный поэзии нежный росток.

Это стихотворение датируется 2 марта 1965 года. А до него в 1963 году было ещё одно стихотворение — удивительное тем, что в нём идёт сопоставление не только Васильева и Есенина, но и примкнувших к ним Мариенгофа, Мандельштама и Шершеневича.

Окно закрыто плотной ставнейю
От диких бурь, в ночи бушующих.
Я вспоминаю тени давние
Друзей уже не существующих.

Я вижу, как перед Есениным
Санкт-Петербург склоняет голову,
И васильковых глаз цветение,
И щёк безжизненное олово...

Я вижу Осю Мандельштама,
Его лирическое зодчество,
Пулями дерзостно-упрямыми
Переходящими в пророчество...

Я вижу Павлика Васильева,
С его улыбкой ослепительной,
С катастрофической гибелью
Таланта юного сказителя...

Я вижу и других, по очереди,
Исчезнувших во тьме кромешной.
Их помнят лишь сыны и дочери,
И вдовы, вечно безутешные.

Я вижу и Мариенгофа,
Так непохожего на мёртвого,
С его воинственными строфами
В дни первых зорь Серпа и Молота.

И тень Вадима Шершеневича,
Неуязвимого оратора,

Грозы самодовольных неучей,
Я в эту ночь вернул обратно.

Я воскрешаю тени мёртвых
Друзей без имени и отчества,
Которые как губкой стёрты
С страниц энциклопедий дочиста.

Они для мира неизвестные,
Но с прежней нежностью душевно
Я вспоминаю их чудесные
Сердца и души ежедневно.

Пусть мы разлучены и вьюгами,
И вёрст бесчисленным пространством,
Но вспоминаем друг о друге мы
С неодолимым постоянством.

Друзья, вошедшие в историю,
И те, кто за её бортами, –
Все ваши радости и горести
Ношу я как загробный камень.

Но это всё далёкое будущее. Возвратимся к излому 1920–1930-х годов. Павел Васильев думал об учёбе в Дальневосточном университете, но планы резко изменились и уже в июле 1927 года с рекомендательными письмами от Рюрика Ивнева и Льва Повицкого он добрался до Москвы. По пути – опять Сибирь, опять работа на подхвате: грузчиком в порту, юнгой на корабле, старателем на золотых приисках, погонщиком упряжки собак и так далее.

Павел Васильев и Иван Грузинов

Возможно, что рекомендательное письмо от Рюрика Ивнева было к Ивану Грузинову, но за ним в ночь с 10 на 11 июня приехал чёрный воронок. Ивану Васильевичу было предъявлено обвинение: «пропаганда, направленная в помощь международной буржуазии». И спустя полтора месяца, 1 сентября 1927 года, Грузинов был выслан в Сибирь – в город Киренск (Иркутская область).

Васильев – из Сибири в Москву, а Грузинов – из Москвы в Сибирь. Почему есть такая возможность, что молодой поэт увиделся с уже другим старым имажинистом? Во-первых, Васильева, как известно, тянуло к поэтам есенинского круга. Во-вторых, Ивнев умудрялся со всеми своими бывшими соратниками сохранять тёплые отношения. К Грузинову, в отличие от Мариенгофа и Шершеневича, которые отодвигали Ивана Васильевича в сторону, он относился хорошо. В-третьих, из всего числа поэтов, близких к Есенину, Ивнев мог бы отправить Васильева к Николаю Клюеву, с которым тоже был в хороших отношениях, но, как мы знаем, с ним произойдёт знакомство только летом 1932 года.

Грузинов же хоть и числился в имажинистах, хоть и пытался писать теоретические работы, хоть и выпустил первую свою книгу «Бубны боли», полную футуристических экспериментов, – всё-таки был ближе

к новокрестьянским поэтам. То есть мог быть интересен Васильеву сразу по двум пунктам: друг Есенина, самобытный поэт-традиционалист.

Есть ещё одна удивительная деталь.

В 1929 году у Павла Васильева появилось стихотворение «Мясники» – об ужасах скотобойни.

Сквозь сосну половиц прорастает трава,
Подымая зеленое шумное пламя,
И теленка отрубленная голова,
На ладонях качаясь, поводит глазами.
Черствый камень осыпан в базарных рядах,
Терпкий запах плывет из раскрытых отдушин,
На изогнутых в клювы тяжелых крюках
Мясники пеленают багровые туши.
И, собравшись из выжженных известью ям,
Мертвоглазые псы, у порога залааяв,
Подползают, урча, к беспощадным ногам
Перепачканных в сале и желчи хозяев.
<...>

Ставит старый мясник без ошибки на трэф,
Возле окон шатаясь, горланят гуляки.
И у ям, от голодной тоски одурев,
Длинным воем закат провожают собаки.

Легче всего предположить, что это диалог с его другом Борисом Корниловым – ответ на его стихотворение «Конобой» (1928). Или, если не так, то, возможно, молодой поэт освоил прозу Маяковского?

Владимир Владимирович ещё в 1925 году описывал свои ощущения от поездки в Америку («Моё открытие Америки»): «Чикагские боины – одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, бляение – неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, – стоит над этим местом. <...> Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев».

Или Васильев с рассказов Ивнева мог знать о поэзии Мариенгофа и о том, что Анатолия Борисовича критики и члены Московского Ордена имажинистов в шутку называли «Мясорубкой» – столько крови было в его стихотворениях.

Конечно, можно сказать, что в первую очередь в стихотворении Васильева прослеживается бытовой эпизод разделывания мяса, превратившийся в сознании поэта в целую скотобойню. Но скорей всего молодой поэт как минимум читал Ивана Грузинова – его стихотворение «Бычья казнь» (1921):

Сквозь зубы истово цедили чай,
Закусывали сдобным калачом.
Молчали.
Рукавом вытирали пот.
В сени
Хозяин, крикнув, выкатил живот,
Как банным венником распаренный бочонок.
Со двора пахнуло

Прелью и снегом весенним.
И золота луча
На розовые скулы.
В закуте – темь и сонь.
Мерно фыркает бык,
Бычью морду треплет рука,
Ласково к пойлу клонит.
На шею тугой аркан
Рукой судьбы.
И в лоб белясое пятно,
Колун
Заржавленным квадратом обуха.
По горлу хлебный нож.
Бьёт кровь в лохань,
Где сдохлись за ночь мутные помои,
И, брызнув на зипун
Хозяина, слипается как чёрное клеймо.
Парные потроха
Зелёной грудью у ветхого плетня.
И птицы реют над добычей.
Труп бычий
Вздыбили на пялы.
И как последний отблеск дня
Дрожанье жил шафранных, сизых, алых.
Мигай, закат, мигай!
Воронье карканье медлительней и глуше.
Кровавые рога
В навоз вонзая,
Ободранная стынет голова.
Два зеркала – остекленевшие глаза:
В одном – небесная синева,
В другом качается распяленная туша.

Вот она, голова быка, на которой заканчивает своё описание Иван Грузинов, у Павла Васильева превращается в голову телёнка: «И теленка отрубленная голова, / На ладонях качаясь, поводит глазами». И поводит глазами, понятное дело, в разные стороны: одним – в небо, вторым – на тушу.

Сначала у Грузинова «по горлу хлебный нож», потом у Васильева «мясники засмеются и вытрут ножи / О бараньи сановные пышные баки». И животные, жаждущие свежего мяса, есть у обоих поэтов: у первого – вороны, у второго – собаки. И у того, и у другого фигурируют банные веники – это вообще деталь, присущая для кровавых картин имажинистов. Здесь можно вспомнить и Мариенгофа: «В каждой дыре смерть веником / Шарит: / – Эй! к стенке, вы, там, все – пленники... / И земля словно мясника фартук / В человеческой крови, как в бычьей...» Здесь можно вспомнить и есенинского «Сорокоуста»: «И всыпают вам в толстые задницы / Окровавленный веник зари»*.

Вот и в «Мясниках» Васильева, и в «Бычьей казни» Грузинова фигурируют веники.

* Есенинский отрывок хорошо рифмуется с эпиграммой Васильева на Сталина: «Клянёмся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами / И в жопу лавровый венюк воткнём». Только на этот раз «веник» превращается в «венюк».

...Зажигает топор первобытный огонь,
Полки шарит березою пахнувший веник,
Опускается глухо крутая ладонь
На курганную медь пересчитанных денег.

И второй пример:

В сени
Хозяин, крикнув, выкатил живот,
Как баннным веником распаренный бочонок.

В обоих случаях, конечно, градус далёк от имажинистских реминисценций, но и это сближает Васильева и Грузинова. Если рассматривать эти два стихотворения как один текст, то чётко прослеживается цепочка действий: у имажиниста – всё совершенно, а у молодого поэта те же мясники уже торгуют мясом*.

Наталья Кончаловская

Существует ещё один любопытный сюжет, связывающий двух поэтов. Его подсказал воронежский исследователь имажинистов Роман Рудаков.

Есть мемуары Натальи Кончаловской** – «Волшебство и трудолюбие». В них она пишет следующее: «У Герасимовых, живших на Тверском бульваре в старинном особняке со сквериком, где находились и Литературный институт, и квартиры многих писателей, собирались друзья-поэты. Был там и Кириллов, Грузинов, Клычков, был прозаик Михаил Никитин, бывал и Павел Васильев, приударявший за Ниной и посвятивший ей стихи, которые начинаются такими строчками:

Опять вдвоем,
Но неужели,
Чужих речей вином пьяна,
Ты любишь взрытые постели,
Моя монгольская княжна...

Вероятно, ни одному поэту не пришло бы в голову сравнивать томную московскую красавицу с монгольской княжной).

Нина – это жена Михаила Герасимова. Познакомились они в 1934-м году. В доме семьи Герасимовых тогда собирались многие поэты и прозаики. На одном из вечеров могла состояться встреча Васильева и Грузинова. Первый уже был достаточно знаменит и входил свободно в любой литературный дом, а второй как раз вернулся из Воронежа.

Но не всё так просто. Есть ещё стихотворение Грузинова с посвящением Наталье Кончаловской, опубликованное во втором сборнике «Новых стихов», изданном Всероссийским союзом поэтов в 1927-м году.

* А тот же Мариенгоф во время Великой Отечественной войны в тон разбираемым стихотворениям писал: «На скотобойне бык ревёт. / Мы, друг мой, – нет! / Мы мужественный скот».

** Наталья Кончаловская – гражданская жена Павла Васильева, супруга детского поэта Сергея Михалкова, мать Никиты Михалкова.

Каждый день – туманно ли, светло ли –
Лишь на миг один глаза смежишь,
снится мне в дали далекой поле,
Звезды синие качаются во ржи.

Чем вокруг шумней и говорливей,
Чем пронзительней машинный гул –
Тем ясней мне, как в ржаном разливе
Березняк по пояс затонул.

И осинки, те, что помоложе,
Трепеща взбираются на кручи.
Можжевель усатый и колючий
Им во след карабкается тоже.

Жаль ивняк кривой и низкорослый.
Ах, ему бы крылья стрекозы,
Или лодочку да лёгенькие весла –
Пусть бы резал золотую зыбь!

Русь моя, в просторе роковом
Обречен я грезить и грустить...
Вот ивняк – последнее прости –
Мне кивнул зеленым рукавом.

Казалось бы, что это стихотворение далеко от любовной лирики. Но есть свои нюансы. Во-первых, Грузинов, как и Есенин, как и поэты новокрестьянской купницы, часто обращался к фольклору, к русскому романсу, к русской народной песне. Мы знаем большое количество примеров того, как через олицетворение природы передаются человеческие чувства. Особенно – любовного плана. «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» – которую поёт Кулигин в «Грозе» Александра Островского, – «Ой, цветёт калина», «Тонкая рябина», «Шумел камыш» и т.д.

Во-вторых, строчка, с которой начинается стихотворение Грузинова, – прямая аллюзия на стихотворение Афанасия Фета – на один из ярких примеров любовной лирики:

Я полон дум, когда, закрывши вежды,
Внимаю шум
Младого дня и молодой надежды;
Я полон дум.
Я все с тобой, когда рука неволи
Владеет мной, –
И целый день, туманно ли, светло ли, –
Я все с тобой.
Вот месяц всплыл в своем сиянье дивном.
На высоты,
И водомет в лобзанье непрерывном, –
О, где же ты?

Таким образом, в стихотворении Грузинова можно увидеть второй план, на котором берёзки, можжевельник, ивы и особенно «осинки, те, что помоложе» читаются иначе.

Влюблялись в Наталью Кончаловскую часто. Павел Васильев написал довольно откровенное стихотворение с посвящением ей. Вот небольшой фрагмент:

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко – занавесок нету,
Ветреных, весёлых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И ещё прошеньем прибалую –
Сшей ты, ради Бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твоё яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ногтей люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор и рассудительные речи,
И походку важную твою.

Можно сказать, что если Васильев и не виделся с Грузиновым, то определённо читал его книги. Рюрик Ивнев мог посоветовать. Или Сергей Клычков. Или ещё кто. А помимо этого оба поэта влюблялись в одну и ту же женщину. Одному хватило смелости на откровенные стихи, другому – на метафорическое описание чувства.

На рубеже 1920–1930-х годов

Между делом, молодой поэт обживает в Москве. Знакомится с людьми, близко знавшими Есенина. Если бы Мариенгоф не уехал в Воронеж, а следом в Ленинград; если бы Шершеневич и Эрдман не были так заняты в киноиндустрии, – и с ними Васильев успел бы познакомиться.

С Николаем Эрдманом он мог видеться в Рязани. Там он пробыл с июня 1935 года по март 1936 года: сидел в тюрьме и, учитывая, что в будущем в городе прижились его жена и дочь, не только сидел, но и в какой-то момент смог свободно передвигаться.

Но это домыслы. Вернёмся к фактам.

Пока же он в Москве. В столицу возвращается и Рюрик Ивнев. В его дневнике появляется запись от 13 мая 1931 года: «... потом мы ездили с [Колей] и Павлом Васильевым на такси куда-то к Павелецкому вокзалу, на Малую Татарскую к каким-то “цыганкам”, но их не оказалось дома (затяг была Павла Васильева). Потом пошли к Мальвине. Там засиделись до часу ночи. Павел пошёл к себе домой...».

Год спустя никакие «цыганки» не помешают Васильеву на допросе в ОГПУ 4 марта 1932 года упрекнуть своего старшего товарища в нетрадиционной ориентации: «Зимой приехал во Владивосток писатель Рюрик Ивнев – остаток Мережковских салонов, изношенный в творческом

и в жизненном отношении человек. Педераст. Ничего этого я о нем не знал, и ослепил его московский шик, кажущаяся известность, его заманчивые загадочные рассказы о Москве, о литературной славе, о Сергее Есенине. Похвалами он вскружил мне голову. Гением меня новоявленным назвал, акростих написал мне».

Васильев, как известно, с лёгкостью сходиллся с людьми и также легко мог их сдать. И Ивнева сдал, и Клюева, и Клычкова, и кого только не сдал. Так что удивляться нечему. Наверное, можно его понять. Отчасти.

Вот и письмо Максиму Горькому в 1934 году говорит о готовности поэта подойти на максимально близкое расстояние к действующей власти – литературной и политической, – пожертвовав знакомыми. Не случайно и в нём всплывают имажинисты.

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Ваша статья “О литературных забавах” подняла важный и неотложный вопрос о быте писателя. <...>

Стыдно и позорно было бы мне, Алексей Максимович, если бы я не нашел в себе мужества сказать, что да, действительно, такое мое хулиганство на фоне героического строительства, охватившего страну, и при условии задач, которые стоят перед советской литературой, – является не “случаями в пивной”, а политическим фактором. От этого хулиганства, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробьиного носа. И плохо, если здесь главным обвинителем будет советская общественность, а не я сам. Ибо ни партия, ни страна не потерпят, чтобы за их спиной дебоширили и компрометировали советскую литературу отдельные распоясавшиеся писатели.

Не время! Мы строим не “Стойло Пегаса”, а литературу, достойную нашей великой страны. И Вы, Алексей Максимович, поступили глубоко правильно, ударив по мне и по тем, кто следовал моему печальному примеру...»

Васильев использует имажинистов и их кафе, чтобы оттенить своё дебоширство: намекает, что в «Стойле Пегаса» известные на всю страну поэты дебоширили сильнее, но настало время небывалого строительства новой жизни, нового государства и нового человека.

Не стоит думать, что имажинисты случайны в жизни Павла Васильева. Годом раньше он написал стихотворение «Одна ночь», в котором появляется Есенин:

Я ненавижу сговор собачий,
Торг вокруг головы певца.
Когда соловей Рязанской земли
Мертвые руки
Скрестил – Есенин, –
Они на плечах его понесли,
С ним расставались,
Встав на колени.
Когда он,
Изведавший столько мук,
Свел короткие с жизнью счета,
Они стихи писали ему,
Постыдные, как плевки
И блевота.

Так или иначе, к 1933–1934 году у Павла Васильева формируется своё чёткое представление об имажинистах: об их связях с «соловьём Рязанской земли», об их творчестве, об их бизнесе, об их дебошах и так далее.

Чтобы показать, что молодой поэт хорошо знает всю описываемую обстановку, можно привести фрагмент из выступления И.М. Гронского перед работниками Центрального государственного архива литературы и искусства в 1959 году:

«Когда С.А. Есенин и С.А. Клычков приехали в Ленинград, они задумали разыграть небольшую историю, чтобы о них заговорили. Они решили инсценировать самоубийство. И Есенин, готовясь к этому, написал письмо к В. Эрлиху, рассчитывая, что тот сразу придет в гостиницу и предотвратит самоубийство. Он ведь не вешался на крюке или еще на чём-нибудь, он привязал веревку к батарее. А В. Эрлих, получив письмо, пришел только на следующий день. Видимо, шаги по коридору показались С.А. Есенину шагами В. Эрлиха, и он, привязанный к батарее, упал на пол. Но никто не вошел к нему, и С.А. Есенин умер. Этот факт мне рассказал Павел Васильев»*.

Здесь удивительно всё: и необычная версия смерти Есенина, и Павел Васильев, рассказывающий её. Но самое необычное то, что Иван Гронский, заступник Васильева, печатающий его в «Новом мире» и устраивающий ему вечера, даже в 1959-м году верит в его байки. А это значит, что придумывал их молодой поэт лихо и азартно, а материал знал с небывалой точностью, которая могла появиться в том числе и после бесед со знакомыми поэта – новокрестьянскими поэтами и имажинистами.

Но такие ли уж байки рассказывал Васильев?

Тому, что Есенин собирался разыграть всех, можно найти и другие подтверждения. Сергей Александрович заходил всё к тому же Ивану Грузинову и просил подготовить некролог. Зачем и почему?

– Я скроюсь, – отвечал поэт. – Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь. <...> Посмотрим, как они напишут обо мне! Увидим, кто друг, кто враг!

Учёные до сих пор ломают голову, что же произошло в ночь с 27 на 28 декабря? Может быть, роковая случайность? Ожидался розыгрыш, а случилась трагедия...

Микросюжеты

Осталось поговорить о Мариенгофе и Шершеневиче.

В книге «Непохожие поэты» Захар Прилепин акцентирует внимание читателей на влиянии Мариенгофа на пролетарских поэтов. А вслед за этим пишет следующее: «Жестикоуляцию Мариенгофа можно обнаружить и у тех поэтов, которые традиционно относятся к есенинскому кругу, – например, у Павла Васильева». И для наглядности приводит несколько стихотворений. Сначала – небольшой отрывок из «Рыбаков» (1927):

* И.М. Гронский, О крестьянских писателях... // Исторический альманах «Минувшее», №8, С. 148.

Освещённая бледным светом,
Протянувшаяся к горизонту ширь,
И звёзды – золотыми монетами
Рассыпанные в камыши,
И луна – словно жёлтый гребень,
Запутавшийся в волосах.
...Спит таким спокойным и древним
Затаивший звонкость Зайсан.

«От самого Васильева здесь только Зайсан, – комментирует Прилепин, – остальное по зёрнышку наклевал». Надо понимать, что «по зёрнышку» поэт выудил у имажинистов.

Далее обозначается ещё два стихотворения – «Дорогому Николаю Ивановичу Анову» (1928) и «Конь» (1932). Влияние Мариенгофа можно увидеть и в других стихотворениях Васильева. Но ещё один заметный пример – «Киргизия» (1930):

Тяжелое солнце
в огне и туманах,
Поднявшийся ветер упрям и суров.
Полюны горьки, как тоска полонянок,
Как песня аулов,
как крик беркутов.

Здесь и ассонансы («суров» – «беркутов»), и образы, и строфика Анатолия Борисовича.

Светлана Ивановна Гронская, дочь главреда «Нового мира», всю жизнь собирала материал о нашем герое. В итоге у неё получилась целая книга – «Здесь я рассадил свои тополя...»*. В ней есть письмо от Г.П. Болотова к Е.А. Вяловой, жене поэта, от 7 июля 1980 года, в котором как раз описывается случай, связывающий имена Вадима Шершеневича и Павла Васильева:

«Как-то приехал к нам в город известный имажинист Вадим Шершеневич. Мы, конечно, слабо представляли, что он за поэт, но история с его книжкой стихов под названием “Лошадь”, которая по чьему-то недосмотру или шутливому умыслу попала в раздел специальных книг по коневодству, многие из нас слышали. Знали мы и то, что Шершеневич одно время был близок к Есенину. На занятие нашего кружка Шершеневич пришел с рукописью воспоминаний о Есенине, которая, помнится, называлась “Без розовых очков”. Были ли они когда-нибудь опубликованы, неизвестно. В них он довольно оригинально, если не сказать резко, описывал историю своей дружбы и совместной работы с Есениным. Акцент был сделан на разные похождения фривольного характера и весьма далекие от литературы. Мы слушали Шершеневича с раскрытыми ртами. Еще бы, ведь перед нами выступал бывший соратник Есенина и при этом развенчивал его в пух и прах. При чтении случайно присутствовал московский поэт Николай Дементьев, который затем выступил и так разделал бывшего имажиниста, что тот вынужден был признать, что отрывок для чтения его рукописи он выбрал явно неудачный.

* «Здесь я рассадил свои тополя»: документальная повесть о Елене Вяловой и поэте Павле Васильеве. Письма (М.: Издательство «Флинта», 2005).

В ходе встречи Шершеневичу был задан вопрос, кого из ныне пишущих поэтов он считает самыми крупными. Шершеневич подумал, потом назвал Пастернака, Асеева и, сославшись на чей-то авторитет для подкрепления своего мнения, – Павла Васильева. Поскольку большинство присутствовавших о Васильеве не имело никакого представления, посыпались вопросы о нем: Кто он? Откуда? Чем прославился? На них Шершеневич обстоятельно ответил, и, в конце концов, сказал, что при всех богатейших задатках Васильева есть опасность, что он может сорваться. Тут он напомнил статью М. Горького “Литературные забавы”, критику великого писателя в адрес молодого поэта. Чтобы рассеять нашу тревогу, он заключил беседу заявлением о том, что, судя по последним данным, Васильев взялся за ум, свидетельством чего является превосходная поэма “Соляной бунт” и очень хорошие стихи, опубликованные в периодике».

Конечно, Васильев за ум не взялся.

У Рюрика Ивнева есть дневниковая запись от 13 апреля 1937 года: «Рассказывают про чудовищное хулиганство ленинградского поэта Корнилова, который, уходя из ресторана, потушил папиросу о лоб швейцара. Ему долго прощали многое, но этот гнусный поступок переполнил чашу терпения».

Наверное, схожие чувства Ивнев испытывал и по отношению к нашему герою. До него не могли не дойти слухи о яичнице на голове Сергея Васильева, об эпиграммах Павла Васильева, о скандале с Эфросом, о драках в ресторанах и так далее.

Не зря же Ивнев писал про катастрофически губительное поведение молодого поэта:

Я вижу Павлика Васильева,
С его улыбкой ослепительной,
С катастрофическою гибелью
Таланта юного сказителя...